Ростислав Дижур [www.r-di.net](http://www.r-di.net)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОМНАТА**

Поэма

1

Среда,

откуда быт выветрился давно,

где суть созданий мнится извечной

и словно вода в сосуде, прозрачной,

а форма — вместилище сути —

значит немного:

все измерения

прямо зависят от пристальности зрения,

то есть весьма изменчивы...

Пространство тоже искривлено.

Говоря иначе: себе не равно,

как нервное волокно

разной чувствительности...

И длительность комнаты условна,

склонна ко вневременны́м поясам...

От пыльной розетки петляющее к часам —

пó шнуру, брошенному так беспечно,

что, выходит, себе же бежит навстречу, —

время изломано.

Время словно складень:

когда отключается свет —

иногда раза пó три на день —

сбрасывается на нет, —

в нулевой час, в нулевой год,

к Вифлеему,

где зыбка ещё пуста, —

и опять начинает отсчёт

от Рождества Христа.

И снова по весям и городам —

всем —

объявлена перепись.

И здесь означает по сути там,

потому что люди и вещи вознамерились

назвать себя

и движутся к тем местам,

к которым приписаны.

2

В причудах времени, конечно, виноваты

не только часы.

Увиденная Альтманом Ахматова,

смотрящая куда-то вдаль

с большого календаря, словно в будущее,

и фон — изломанный хрусталь —

причудам способствует.

Виной — и сам календарь,

который числами всеми

постоянно смещает время —

не хочет подстраиваться.

Снег за окном,

а он твердит об одном:

нынче август,

если первое — то вторник.

Не злободневен,

к ритмам сфер не падок,

он уверен, что мировой порядок

никуда не денется, —

поупрямится

и скорее всего,

лет через пять

опять подстроится под него.

Знает: кто умеет ждать —

своего добьётся.

3

Прорехи в пространстве

можно увидеть воочию...

Однажды ночью,

верно, по комнате странствуя, —

видимо, что-то искав, —

книжный верзила-шкаф

за грань шагнул:

дыру в полу проделал, —

и рухнул, как некогда Голиаф.

Дух не вышел,

однако нутро опустело...

Так неожиданно подтвердилась

условность не только времени,

но и пределов.

Увериться в том и теперь не поздно:

зá полночь

в дыре не осколки мерцают, а звёзды.

И смотрится это — как зрилось в окне бы:

вполне естественно.

Хождение пó полу здесь тождественно

с движением по небу.

Тут не кажутся случайными совпадения.

Вот и после того падения

стёкол осталось не мало и не много:

в книжном шкафу колченогом

из двух — одно,

в книжных полках, стоявших сверху,

из четырёх — два.

Иначе:

наличие равно отсутствию...

И барометр, уцелевший вроде бы,

с тех пор юродивый:

упав, растерял слова

и блаженно, из года в год,

одно твердит: Нормально...

4

Комната и ввысь бездонна.

Небом выше — Сикстинская Мадонна.

Лучась — юна и женственна —

с мальчиком шествует —

младенцем

с большими живыми глазами

и нáлитым тельцем,

которое, как солнце,

не удержать рукам...

Босая,

едва касаясь,

идёт по облакам...

При ней — святых пара:

папа Сикст и мученица Варвара.

Папа — у ног Марии справа,

с нимбом над плешью.

Святой, но грешен, грешен...

Варвара — с кротостью в осанке —

у ног Марии слева.

Смотрит с неба,

как видно, на свои останки,

нашедшие, кажется, успокоение

в городе, где появился на свет,

где обретался младенцем,

вырос и откуда уехал тот,

кого комната считает своим владельцем.

Время и здесь к линейности не склонно.

Если молчать о ребёночке даже,

юная Мадонна

должна быть старше

Варвары — на триста лет,

старца Сикста — на пятнадцать столетий.

Впрочем, неувязки эти

легко объяснимы.

Как сказал однажды поэт,

все ушедшие — современники...

5

Вещи

заняты думой о вечном.

И носят отметину эту не как вериги,

а как естественную поруку служения истине.

Отметина — есть

знак приобщения к религии, —

но не к одной из тех, что не счесть,

а к той, одной, как мир единственной

вере,

которой служит и живущий здесь.

Можно подумать, вещи, даже лохмотья,

имеют природный *духовный* скол, —

в отличие от того как плотью,

искусственно, иудеи обрезаны.

К служению призваны,

вещи тут — ещё при жизни —

стали равны, свободны и нетщеславны.

Хотя формально главным

считается письменный стол.

Им, патриархом, — лично рукоположен —

тон задан

тем, кто моложе.

Дышащему на ладан,

ему давно не под силу движения.

Видно поэтому — из уважения —

за ним уже не столько пишут,

сколько просто сидят рядом,

не облокачиваясь —

не отягчая хилых конечностей, —

и задумчиво глядя в окно,

молчат в унисон о вечности...

6

Комнату можно проветрить, оставить, —

проверено: вещи имеют и память.

Эта на здешних предметах метка —

эта

в себе угаданная нота —

вывела их из дремоты

и уже не выветрится...

Над пыльной розеткой,

откуда время течёт,

явно не забывая,

чему учёт ведёт, —

иллюстрацией и того, что стена —

любая —

тоже предмет отвлечённый, —

цветное космическое фото.

На нём видна

огромная — во весь горизонт — Луна

и шар небольшой, Землёй наречённый.

Луна — рыжая, Земля — голубая,

Космос — чёрный.

Взглянув, понимаешь:

формы Вселенной —

больше чем совершенны и красивы.

А если шар тот же

и дышащие вокруг массивы

дольше разглядывать,

становятся зримы силы,

которые планету поддерживают...

Фото, хотя и безмолвно,

может внушить:

все величины условны.

Оно из воззрившегося на него

эту б догадку искрило помалу

и дóбыло бы, как вспышку — кресало,

а чтобы сомненья не ели впредь,

уверило бы: размеры

зависят всегда от того,

как на них посмотреть.

И кажется, глянувшего на фото

оно в свою обратило бы веру:

увидевший голубую сферу

унёс бы в себе

расслышанную ноту вечности,

потому что смотрящий на Землю,

где город есть и комната,

откуда смотрит на фото, —

видит Землю,

где город есть и комната,

откуда смотрит на фото, —

и видит Землю...

Заумь сия вызывает смешок

и может заклинить баки

похлеще, чем старый стишок

о жестоком попе и его собаке.

Но этот в сущности бесконечный ряд,

эта повадка зрения

оправдывает предположение:

однажды брошенный взгляд

преломляется, множится

и уже не кончается...

7

Очень возможно, вошедший сюда

узрел бы свои прожиты́е года

распавшимися не на прах и на быль,

а на прах и на вечные лéта.

А это

уже неизбежно приводит к выводу:

особи речи сейчас и всегда,

казалось бы, столь непохожие,

говорят об одном и том же.

А пыль —

на розетке — под фото безгласным —

и дале — не только на ней —

стороннему виделась бы сообразной,

достойной попасть в музей

космической пылью,

которой по сути и является...

Всё это, впрочем, фантазии:

здесь

пришлых не бывает. —

Не потому, что в доме не терпят гостей...

Тронутый, оповестив о приёме

улицу всю, даже город весь, —

тоже, пожалуй, визитёров не дождётся.

Туда, где отсутствие быта — мера всего

и хозяин якобы не от мира сего, —

не ходят.

8

И это хороший знак.

Да и жилище — не Мекка...

Забвенье глаголящих и зевак,

свобода от светских правил

и прочих условностей века —

к лучшему.

Иначе б другую обитель избрали

апостолы Пётр и Павел

и присутствие Эль Греко

не чувствовалось бы так.

Павел —

прежде палатки шил, этим и жил, —

от смотрящего на него — справа;

Пётр —

не был богаче, рыбачил, —

от смотрящего на него — слева.

Бросившие иглу и невод,

ставшие тружениками духа

после того, как Слово

коснулось не только слуха,

но сердца,

и здесь повествуют о том,

*что* сообщает небо...

Взгляд Петра, учившего на Востоке,

чаще отсутствующий, но всегда глубокий.

Павел, прозревший на Запад маршрут,

больше — тут,

но тоже устремил глаза

куда-то в пространство и за.

Оба —

подвигнуты, вдохновлены, но бесстрастны.

Одним присутствием своим дают ответ

на вопрос о смерти:

дýши ей не подвластны.

Прошли сквозь века —

и на всём протяжении лет звучит:

Верьте, —

сквозь мастера —

так проходят космические лучи —

и длятся, и будут, как видно, длиться...

Лицам

грек пропорций нé дал.

Верней, пропорции гласят о связи с небом:

лица вытянуты;

тел фактически нет:

грек запечатлел души.

А им, похоже, — никакого дела

до козней Рима

и казни

того, что собственным называлось телом.

Тело докажет лишь то, что неоспоримо:

дороги выходят из града Иерусалима

и неотвратимо заканчиваются одним —

приводят в Рим.

Только души

простираются дальше и выше...

В руке у Петра — ключ

от града Небесного.

Этим ключом, должно быть,

апостол врата отопрёт

и впустит

того, кто в комнате живёт.

Когда — неизвестно.

9

Скорее бы, — суетно думает кровать.

Неправоверна,

она одна относится скверно

к тому, кому выпало тут квартировать.

Скверно — мягко сказать.

Было б возможно,

она б согласилась его продать.

Чтó продать, — отдала бы даром.

С её размером

смело могла бы стать

центром одной из любвеобильных спален

и клянёт — за то, что несексуален, —

того, кто ложится спать.

Стремясь помешать уснуть —

задеть, —

начнёт выговаривать: мол, не чуток;

дескать, до трети суток

его, ленивца,

вынуждена терпеть.

Упрекая за неподвижность,

уповая на скоропостижность —

втайне, конечно, —

внешне

всем своим видом учит жить.

Пытается внушить

уже засыпающему:

здесь должны вытягиваться голые;

всех двуногих, мол, призвание такое,

иначе-де сдвинется,

как те двое, —

схлопочет вытянутую голову...

Так, восславляя телесную связь

и злясь —

на спящего уже —

за связь небесную,

кровать заканчивает одним:

Бог с ним,

пускай бы шатался пó небу,

но хоть бы привёл кого-нибудь.

10

Кажется, в самом деле, —

ещё в одном теле

нет потребности днесь.

И сатане

нечего делать здесь.

В надобности трепыхания

ещё одного дыхания

можно было бы совсем извериться,

если б не записка на стене:

Поливать деревце.

Впрочем, без внутренней связи

и крайнего внешнего невнимания

и тут не обходится.

Деревце наречено библейским.

И мнится, в названии есть резон.

Особенно если учесть уклон

в образе жизни —

никак не эпикурейском:

поливается раз в сезон.

Каждый третий август, —

утверждает календарь.

Само же деревце пить не просит:

терпеть научилось, как всё вокруг.

Тот же стало в себе

лелеять звук

и конечно, не плодоносит.

И правильно делает.

Незачем утруждать утробу:

если и принесло бы

патрону своему

яблок райских, —

висели бы нетронутыми и пожухли бы,

потому что глаз хозяйский

отсутствует...

Влияя на природу вещей и особей,

метка задумчивости

формирует особую породу —

обособленных:

несвоенравных — склонных к уступчивости,

коль, разумеется, речь не о главном, —

и крайне неприхотливых.

...И если теперь иссушает что-нибудь ветки,

то это мысли...

Возможно, деревце и засохло бы,

но видно, один из предков его

был кактусом.

11

Записка просто не замечается,

так же, как всё остальное.

Каждая буква в ней

живёт уже своей

личной жизнью —

осмысленна и абсолютно свободна,

сама составляет слово,

распространяется в предложение;

предложение принимается

и разрастается в поэму,

до коей уж точно

дела нет никому:

поэм не читают.

Об этом знают все,

даже пишущие,

которые что-либо изменить

не хотят —

иначе: не могут, —

и потому

увлечённо занимаются

не нужным никому трудом.

Сущность таких явлений,

скрытых от разумений,

названа Кантом

вещью в себе.

12

По сути, любая комната —

вещь в себе,

даже если в себя впускает.

В ней обитающий

знает её лишь несколько лучше,

чем остальные;

не потому что предметы надменны

и не глаголят.

Напротив,

качества многие и черты

среда неизбежно перенимает.

Но каждый ведь — как ни смотреть —

знает себя не более, чем на треть.

Что ж говорить о вещах посторонних...

Говорить —

вообще нескромно.

Лучше других

об этом знают предметы.

Говорить — это значит

себя выдавать за Создателя,

заявлять о себе,

привлекать внимание,

то есть уже неминуемо

уклоняться от высшей миссии:

от служения.

А вещь не нужна

*не*-

целесообразной.

Осознавая это,

каждая, молча, несёт в себе свой смысл,

который со временем переходит в мысль,

а после, с годами, — и в чувство.

Кажется, только такое развитие жизни

способствует исполнению

назначения самого главного.

13

Здесь

именно *так* заведено.

И всё же

из всех шевéлящихся и недвижимых,

значащихся на правах домочадцев,

лучше других, пожалуй,

знает это окно.

Так получается:

вытерпевший страдания

и не выронивший стенания

бóльшим одаривается знанием,

острейшим осязанием бытия...

Вот и окно, —

в этой патриархии

стихии противостоит

оно одно,

одно за всех:

дожди и зной,

обморожение и снег

на себя принимает.

И тоже — хоть раз бы о чём попросило...

Оно, свой век —

почти мафусаилов —

служению отдавшее,

не чающее избавленья от бед,

последние десять лет

выглядит как-то особенно печально;

оно, как безвинный Иов,

того, чем гордиться могло, — лишилось,

и больше его не страшит случайность.

То, чего так страшилось,

уже свершилось:

и подоконник, и рамы — рассохлись,

краска отшелушилась.

Только душа и осталась.

В прочем — отказано.

Но Иову легче страдалось.

Наказанный за праведность проказой,

почти утративший образ человечий,

он брал черепицу

и почёсывал — грудь и плечи.

Окно

лишено и этого...

Только думы о вечном

и непрестанный труд

помогают забыть про зуд.

Веря в Высокий суд,

в мыслях даже не позволит себе протест

и несёт свой оконный крест

без нареканий. —

Ни укоризны, ни слóва худого тому,

кто к мукам причастен.

Мало того:

если мучитель его, участливо,

спрашивает мысленно,

счастливо ли оно, —

окно

так же мысленно отвечает:

Счастливо.

И судя по всему,

отвечает искренно...

14

Видно, страдание — не следствие, а причина.

Если точней, — основание:

то, на котором возводится храм Служения.

Кажется, только такой фундамент и прочен

для столь возвышенного здания...

Окно и служит — молча, чинно,

и днём выполняя и ночью

главное своё назначение:

видимый впускает свет

и тот, что проходит поровну

в обе стороны, —

тот, которого нет как будто.

Правда, иногда прорывается и ветер.

Но если завоет слишком злобно,

и можно подумать: зима на свете,

а стало быть, всех домочадцев,

как встарь,

окно защитить не способно, —

выручит календарь. —

*Так* промолчит, что все,

даже в прихожей лыжи,

услышат:

Ничего подобного,

нынче август,

если первое — то вторник.

15

В доме с будничными наклонностями

эту свободу приняли б за диктат,

уход от реалий — за спесь,

которую, конечно, сбили сразу бы.

Но здесь

примат

веры — над условностями,

внутреннего — над внешним,

чувства — над разумом.

Глазом

этого не узреть,

но вещи тут передать не преминут:

в комнате — за

и над Римом, —

где отсутствие

равно наличию

и значит, нельзя —

уже не получится — умереть,

особенный микроклимат.

Причиной тому, вероятно, мета —

та характерная нота-прима,

она же — та первородная глина,

из коей творились не сами ещё предметы,

а их назначения.

Стало быть, форма — есть отвлечение.

Если прозрачнее,

то обретение формы — суть заточение смысла,

имеющего иное влечение:

смысл

ждёт перехода в мысль,

а после — в чувство.

Но первородную эту печать

может в себе не разведать её обладатель...

И только если с вещами молчать

и малость помочь им —

полюбить их; пускай не очень,

но чтоб ощутили: коль не создатель,

то незлобивый отчим

где-то поблизости, —

короче: если молчать

и хоть немного любя,

предметам не докучать, —

вещи вслушиваются в себя

и начинают внутренне звучать.

В этой юдоли

им тоже лишь помогли, не боле:

много лет

здесь никакого давления нет

ни на кого.

16

Нота — не просто символ веры,

нота ширит внутренние размеры:

сначала,

с выходом из дремоты, —

до рубежей протяжения

этой собственной ноты.

Далее — до широты кругозора.

В результате — охватывает просторы

и даже увечным, хилым

даёт несравненное чувство опоры —

опоры в себе.

Вот и тут

всем укрепившимся в вере

свойственен внутренний уют

и немирское

сознание неподверженности внешним силам

с незыблемым центром покоя

и абсолютным отсутствием амплитуд.

Случись в атмосфере

нечто совсем аномальное, —

тут же прибор блаженный

сие опровергнет своим Нормально,

и чувство взвешенности у вещей сохранится...

Можно подумать: невидимая десница

предметы поддерживает...

Кажется, и само пространство

тут — в состоянии выверенного баланса.

Видно, со стен смотрящим лицам

тех, кто в теле уже отгостил, —

взглядам их, глубоким и бесстрастным, —

комната обязана балансом сил.

Не всем перепал багет.

Но превращая свет

в невидимые токи,

эти выходы в стенах —

в трансцендентное

и в эпоху Ренессанса —

здесь выполняют функцию окон

в иные пространства, —

в те пространства, где с бытом

тоже поступают, как с балластом.

17

Женский портрет, —

этой среды сердцевина...

Ещё одна картина...

Ещё один поэт...

Рядом примет

и они утверждают вполне резонно:

грани комнаты размыты...

Ещё Мадонна:

Мадонна Литта.

Курчавый младенец — такой,

что хочется ущипнуть, —

пытаясь узнать:

неизбежен ли крестный путь,

смотрит прямо в глаза, вскинув реснички,

и сосёт,

придерживая рукой,

материнскую грудь.

Во второй —

держит игрушечную птичку...

За эту картину гроша не дадут в ломбарде.

Явись Леонардо —

конечно, отрёкся б от авторства.

Увидел — и молвил бы, видимо: Варварство!,

потому как явно не знал языка авангарда.

Для зренья, действительно, труден

этот новаторский цвет.

Но нынче, за давностью лет,

уже не найти виноватого,

почему Богородица кормит зелёной грудью

младенца зеленоватого.

Метаморфоза,

похоже, с красками.

То ли состряпаны наскоро,

то ли озябли они от мороза

и кризисов отопления:

картина куплена *до* наступления

вечного августа.

И у оправы цвет — позорный-позорный.

Купивший подумал: выкрасит раму в чёрный.

Но разумеется же, никогда не выкрасит,

разве что выбросит.

Впрочем, из этого тоже

уже ничего не получится, —

известно: отсутствие

лишь особого рода наличие.

...А мати с дитятей,

кажется, кстати всякий цвет:

в лицах кровинки нет,

но притягательны так,

будто зелень та — приворотная...

18

Ниже — на стене —

диковинные животные.

Одно — двурогое, полосатое,

означенное ситатунга,

второе — пятнистое, тоже четвероногое,

видимо, из семейства кошачьих,

обозначенное иначе, но тоже таинственно:

сервал.

Животных когда-то молча приклеил мальчик:

сначала — картинки, потом — названия.

Стало быть, имена условны.

И мальчику передалось безразличие,

устойчивое невнимание ко всему внешнему, —

та же в нём зазвучала струнка.

Животных, как видно,

ребёнок по-своему назвал.

А может быть, имена перепутал,

тогда ситатунга тут — сервал,

а сервал — ситатунга.

Картинки, конечно, никто не сорвал.

Не только в силу того, что известно:

подобное бесполезно, —

особи здесь друг другу не мешают.

И кто бы, интересно, утруждаться стал?

В ближайшем будущем — тоже

им, похоже, опасаться нечего:

менять обои,

как впрочем и всё остальное,

кажется, не собираются.

19

Обои,

свой тон телесный

давно возомнившие пресным:

им ближе голубое, —

обои,

грезившие от рождения

если не сводом небесным,

то стенами воздушных замков и ротонд, —

обои,

помнящие ремонт:

юность,

влюбчивость,

прилипчивость, —

отдали предпочтение свободе.

Решили однажды: грёзы — не наваждение;

воспрянули и с тех времён

со стенами в разводе.

После того духовного возрождения

внешне, осанкой, —

дали понять: мол, независимы;

мысленно —

липли к воздушным замкам:

с годами, действительно, óбжили дали

и к *тем* приписанные уже местам,

чувствовать стали:

здесь означает по сути там.

20

Шкаф платяной тоже отсутствует, —

и его ни одной не сдержать меже.

И тоже не мыслит уже,

а только чувствует...

Книжный верзила —

с маху всего —

рухнул именно на него.

Если в причинные силы

того ночного рейда

всмотреться глазами Фрейда, —

подоплёка столь бурного события,

как выяснится, однозначная:

попытка соития.

И судя по всему, удачная.

Устойчивый, вполне земной,

шкаф платяной

с тех пор блаженствует, —

уверил себя, что женственен,

привлекателен,

что в нём полно платьев

и звался бы даже платиновым,

если бы не был такой живой.

Расслаблен —

лиричны дверцы, —

слегка помят,

но заглядывается на тех, кто восславлен,

свят

и уже с младенцем...

Часа ждёт и чувствует:

зачатие не может быть порочным.

Когда — не ясно пока,

но ведомо-де точно:

чадом божественным разрешится лоно

и тогда — торжественно, как Мадонна, —

пойдёт по облакам...

И здесь над ним никто не смеётся, —

известно:

кто умеет ждать — своего добьётся.

21

Шкаф книжный

после чувственной ночи той

уже недвижен

и внешним — тоже больше не озабочен.

А поза —

устойчивая; с наклоном,

в отличие от платяного, в прозу, —

свидетельствует о разочарованности...

Задумавшийся о вечном,

он стал похож на царя Соломона.

Уступит, конечно,

счётом наложниц и жён, —

хотя, чего там, тоже отягощён

романами, воспоминаниями.

Но нáжитыми знаниями,

прежним ухарством и грустным итогом —

отсутствием желаний, —

иначе: жизненной дорогой —

соответствует...

И то ещё в нём Соломону равное,

что понял,

вообще говоря, не так уж много,

но главное.

Поэтому и молчит.

Лишь временами течь даёт

внутренняя речь.

Тогда обрывки его монолога

улавливают предметы.

Чаще

их чуткого слуха

касается это:

Всё суета и томление духа...

Но, несмотря на пропавший задор,

службу свою несёт исправно.

Однако же на вопрос о главном,

если бы он вступал в разговор,

ждать скорее можно было бы ответа:

Сколько не хаживай по свету,

сколько хребтину над книгами не горбь,

не сыщешь истины большей, чем эта:

“кто умножает познания —

умножает скорбь”.

А если спросивший, утратив прыть,

молвит растерянно: Как же быть?

Не закапывать же тело заживо? —

так же, думается, в ответ

искренне скажет:

Горбь и хаживай...

Но молчит.

Потому что не омрачит

пребывающих в дивном незнании.

Помимо же прочего, с давних пор

здесь не в чести разговор.

Да и кто же когда

нуждался в чужих советах?..

22

Хотя искушение словом огромно,

верные той же религии,

молчат и книги.

Молчат о том, что говорить — нескромно.

Говорить — это значит, не зная меры приличия,

заявлять о себе, привлекать внимание,

в манию впадать величия,

форму приискивать,

форма же — есть отвлечение;

говорить — это значит прикидываться искренним,

присваивать слова,

тем самым умножая собственность,

что явно не способствует

исполнению главного назначения...

Слово, сыгравшее роль запала,

одно знаменует собой: Начало.

Но все слова уже давно случились...

После того, как чувствовать научились,

надобность в речи отпала.

И каждый казус речевого выброса —

есть попытка изменения Замысла.

Слово,

прикидываясь, что ново, —

звуча, —

настигнет и вопреки желанию.

Последнее, ко всему же,

не может не означать:

речь — есть насилие.

Осознавая это,

книги

молча

несут в себе

каждая — свой смысл,

переходящий — через мысль —

в чувство,

которое границ не знает

и только ждёт востребования...

23

И комната — вся — переходит в чувство:

в чувство интимности,

которое ждёт востребования

и хоть немного взаимности.

А если шире —

то же можно сказать и о мире.

Впрочем, различия ширей и далей

этих смежных пространств

касаются только деталей и убранств.

Главным же — чувством — эта среда

внешней равна среде,

так, что кажется иногда:

эта и та совпадают...

0

Здесь — если иначе — везде

сейчас — что также значит всегда —

никого, то есть по сути — все.